

Екатерина Точанская
tochanskaya@mail.ru

Вид на Фонтанку
Пьеса для одного голоса

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Андрей, пожилой мужчина

Молодая женщина, имя которой не называется

Санкт-Петербург

2015 год

На сцене множество вариаций одного окна: с ажурными занавесками, тяжёлыми богатыми шторами, заклеенного полосками бумаги, заткнутого матрасом, закрытого фотобумагой, с горшками герани, котом, и т.д.

У одного из окон сидит молодая женщина, закутавшись в плед.

Андрей. Как хорошо, что ты пришла, я так ждал! Ты права, конечно... Совершенно права! Я всё обдумал. Смотрел в окно и размышлял... Да или нет? И решился. Что я теряю, кроме своего одиночества? Прошу – выслушай меня сегодня. Мне будет так приятно...

Ты знаешь, мои блокадные воспоминания начались, конечно, не с объявления войны. Дело в том, что возраст был еще такой, а это было шесть-семь лет, когда о войне, в общем-то, были весьма и весьма смутные представления. Представления о войне появились значительно позже, когда война вошла в город, когда война вошла на улицу, когда война вошла в наш дом.

Первое впечатление, это из окна... Видишь крышу Александринского театра? Там появилось четыре аэростата – гигантские надутые гондолы. Они не давали пикировать немецким самолетам. Их поднимали с углов площади Островского. Серебристые, большущие. Когда ещё не было сильных бомбежек, и не было регулярных обстрелов – немцы не подошли еще вплотную к городу, эти большие надутые колбасы носили женщины. То есть, с каждой стороны от этой колбасы, диаметром пять-шесть метров, шла колонка женщин. Они несли эту колбасу по улице, не давая ей улететь, а потом поднимали на тросах с машин.

Кроме того, когда начались бомбежки, начались прожекторные осмотры неба. Это было потрясающее зрелище! Несколько громадных прожекторов, установленных на машинах, светили в небо, и что самое интересное: свет этого луча был настолько неэффективен, что поймать самолет одним лучом было невозможно. Обязательно нужно было несколько прожекторов, чтобы в перекрестье эту птичку маленькую-самолет было видно, как он летает по небу, и зенитки начинали отчаянно стрелять в него. Объявлялась воздушная тревога. Дежурные люди, которые ходили по улицам, всех загоняли в бомбоубежища.

Бомбоубежища занимали подвалы домов. В основном они были совершенно примитивно оборудованы, но одно из бомбоубежищ, находившееся в доме на углу Фонтанки и Графского переулка, было совершенно великолепным. Мама меня все время таскала в это бомбоубежище – от нашего дома через шесть домов. Оно было большое, оборудованное химической защитой: перед войной было очень модно заниматься всякими ОСОАВИАХИМами. И представь себе, что в этот раз мама мне сказала: «Давай пересидим дома». И бомба попала точно в это бомбоубежище и засыпала его. Погибли все, кто там был, они задохнулись. Откапывали их уже после войны. Я это очень хорошо помню, потому что мы с ребятами прыгали по этим развалинам, грудам камней. Коробка дома стояла, а все внутренности, все этажи были раздолбаны до предела. Один из парней нашел там золотые часы, когда мы копались и кидались кирпичами. Этот дом даже не маскировали. Он стоял с пустыми глазницами окон, его не трогали. В то время как на Невском все дома, которые были разбиты, все маскировались. То есть, закрывались фанерой снаружи, рисовали окна, как будто все цело. Для чего, мне самому непонятно. Я думаю, что для улучшения психологического состояния жителей. Вероятно, по этим же соображениям, сразу, как только началась война, у населения стали отбирать

фотоаппараты. Было запрещено фотографировать и делать зарисовки. Дневники могли вести, но только гражданские. Военным это также запрещалось. Надо сказать, что и почта в этом смысле работала «грамотно»: каждое письмо тщательно вычитывалось специально обученными девушками, и «лишнее» вымарывалось черной тушью.

Вот это первые ощущения войны.

Мама, несмотря на то, что она не ходила в церковь, была верующей. В тот день она мне сказала, что боженька нас спас.

Мама училась в школе-студии МХАТ. Потом служила в театре Станиславского и Немировича-Данченко в Москве. Там мой отец с ней и познакомился. Видишь, какой она была миловидной, настоящей северной блондинкой. Папа тоже был ничего себе мужчина, правда, старше мамы на пятнадцать лет.

Надо сказать, что до и после революции инженерия жила очень неплохо. Это не были, конечно, по нынешним понятиям, олигархи, но врачи, инженеры жили на широкую ногу. И вот, отец, выдающийся инженер, сделал маме предложение, которое она приняла, но поставил условие – никаких театров. И в 1920 году мои родители переехали в эту квартиру с видом на Фонтанку.

Поэтому я могу тебе сказать, что какие-то зачатки тяги к искусству во мне – это со стороны мамы, конечно. Она очень любила театральную жизнь, хотя не принимала в ней сама активного участия. А от отца мне достался огромный интерес к технике. Отцу я всегда поражался: он очень отличался своими знаниями, свободно владел тремя языками, и всегда много работал.

Всю свою жизнь я прожил в этой квартире. Раньше, правда, она занимала целый этаж, а сейчас превратилась в маленькое двухкомнатное жилище с кухней семь квадратных метров. Я приложил все силы, чтобы остаться на этом месте и не уезжать, хотя сволочные чиновники мне говорили: «Вы можете получить квартиру, равноценную по площади, четырехкомнатную, но где-нибудь в Калининском районе «Гораздо Дальше Ручья». Я сказал, что я туда не поеду, как хотите, я готов потерять две комнаты. Их и отрезали, и приделали к другой квартире во время капитального ремонта. И вот сейчас осталось две комнаты. Меня все это устраивает. Правда, книги меня задавили, но я держусь и от книг не откажусь никогда.

Интересно тебе? Молчишь...

К началу войны маме было почти сорок. Папе – пятьдесят пять... У меня был старший брат. Войну он встретил в Таллине командиром торпедного катера, офицером. Это был сорок первый год, когда из Таллина массово из-за разгильдяйства нашего командования слишком поздно выводили все морские силы. Его катер даже не нашли: прямое попадание снаряда – катера были деревянные... Осталась одна-единственная фотография. Все. Больше ничего нет.

Видишь, какие разные судьбы ...

Подготовка к обороне Ленинграда, защите Ленинграда от наступающего врага была организована отвратительно и, я бы даже сказал, фальшиво. Да, Ленинград вроде бы начали защищать, строить Лужский рубеж. Жителей города направляли в район предполагаемого выхода врага, начиная от Кингисеппа, от южного берега Финского залива, это была великая стройка коммунизма. Пенсионеры, женщины, мужчины, все городское население направлялось на строительство колоссального рубежа, который должен был защитить город как от пехоты, так и танков. Это огромный противотанковый ров, доты, траншеи. Многокилометровые укрепления, которые должны были остановить врага. Но немцы были искусные воители, они Лужский рубеж достаточно легко преодолели, просто обошли. И те солдаты, мальчишки, кто остался в котле на защите

рубежа, частично смогли отойти в сторону города, остальные взяты в плен или уничтожены.

Когда немцы подошли почти вплотную к городу, Ленинград надо было защищать. Но, одновременно с тем, что город предполагалось защищать, предполагалось и другое деяние – взорвать город, не сдать его противнику. Прежде всего речь шла о взрыве очень крупных предприятий, которых в городе было достаточно много. Обуховский завод, Кировский завод, Электросила, Арсенал и другие. Для этого была создана большая команда людей, которые начали минировать предприятия и мосты. Все мосты через Неву были заминированы. В самом худшем развитии событий, мосты были бы взорваны, и фашисты были бы отрезаны от какого-то кусочка суши, который с севера подпирала финны под руководством совершенно блестящего генерала Маннергейма, жуира, любителя женщин, кавалера Двора, который прекрасно говорил по-русски и знал всех наших военачальников, оказавшихся неспособными обеспечить достойную защиту города. Маннергейм, хотя он и был финно-шведом, он очень уважал Россию, и, дойдя до Сестрорецкого рубежа, он мог, вспомнив опыт Зимней войны, выйти и продолжать наступление на город. Он этого не сделал, и началась позиционная война, которая, в принципе, фактически сводилась к тому, что стреляли финны, потом стреляли наши, потом опять стреляли финны, потом опять стреляли наши ...

Конечно, немцы, когда бомбили, они бомбили и артиллерийские позиции, зенитки, которые стояли в городе в очень небольшом, надо отметить, количестве. Это было Марсово поле: там все было изрыто. Кроме того, зенитки стояли на пляже Петропавловской крепости. Поэтому немцы целились и туда, и кто страдал? Страдал зоопарк. В начале сентября бомбой убило слона. Это действовало сильнее, чем сообщения о гибели мирных жителей. Представь, был единственный слон в городе – и в него попала бомба.

Все трагические новости такого рода мы узнавали исключительно по «сарфанному радио». По ленинградскому радио новости были морально поддерживающие: «Н-ский завод выполнил план по выпуску военной продукции», «Передовик Вася Иванов, молодой человек, которому только что исполнилось четырнадцать лет, работая на токарном станке перевыполнил норму на 20 процентов», или «Профессор Андреев Давид Константинович придумал метод пропитки деревянных стропил на основе соли, чтобы уменьшить возможность возгорания». Передавались патриотические песни, лирические, русские народные. Читала стихи Ольга Берггольц, свои и других авторов, например, Джамбула. Я очень жалею, что выбросил чёрную тарелку, репродуктор, который висел у нас с мамой в квартире во время войны.

Пока не было никаких объявлений, работал метроном для того, чтобы люди понимали, что линия не повреждена, и приемник включен. Нельзя было его выключить. Это было даже опасно – пропустить сообщение о воздушной тревоге.

Один единственный раз нас с матерью застала бомбардировка на улице. Самолеты мало пикировали, потому что очень много было аэростатов. И когда самолет бросает фугасную бомбу, и она летит со свистом, возникает такое ощущение, что бомба летит именно в тебя. Странно. А падает за несколько кварталов. Но когда летит, кажется, что ее цель – только ты...

На еде первые месяцы войны никак не отражались в общем-то. Были какие-то запасы – макарон, крупы. Отец работал и получал рабочую карточку, но мы с мамой жили на иждивении и имели право на гораздо меньшее количество хлеба. Мы вместе ходили на площадь Ломоносова, там была открыта булочная, которая существовала еще с царских времен. В этой булочной командовала здоровая тетка, у которой был огромный

нож, этим ножом она взрезала буханки, откладывала по кусочку хлеба (это уже потом, когда снизили норму) на весы. И более того, она к каждому кусочку делала прирезок, довесок назвался. Это было самое вкусное, что я любил. Этот довесок сразу взять в рот и проглотить. Довесок был очень маленький. Видел я однажды, как мальчишка, чуть старше меня, схватил у женщины этот довесок – из карточки вырезался талон, и она свой талон уже отдала – и как этого мальчишку били. Но он успел кусок засунуть в рот. Конечно, никто уже не мог выдавить хлеб у него изо рта.

Несомненно, очень удручающим событием для нас был пожар на Бадаевских складах. Ты наверняка слышала об этой трагедии. На Бадаевских складах, которые размещались на Черниговской улице, хранилось продовольствие, и туда попала бомба. Они горели чёрным пламенем несколько дней. И вот, тоже благодаря маме, уже весной сорок второго года мы ходили на Бадаевские склады – это разрешалось – и собирали землю. Земля была пропитана расплавленным сахаром. И потом эту землю мы добавляли в кипятки и пили сладкий «чай», хотя он отнюдь не был чаем.

Бадаевские склады – это была одна из самых, что ни на есть, печальных страниц города. Существует мнение, что вот если бы Бадаевские склады не сгорели, то не было бы той страшной блокады. Но даже если бы они не сгорели, они не могли обеспечить питанием всех жителей какое-то продолжительное время. Ну, продлили бы они не такую голодную жизнь для города на десять-пятнадцать дней... Кого-нибудь они бы спасли, конечно, но не всех... Эта катастрофа была следствием дурости нашего партийного руководства, которое сосредоточило в одном месте все продовольственные запасы, вместо того, чтобы развезти их по разным районам.

Что еще рассказать...

Трубы были разорваны, водопровода как такового не было, а были только пожарные магистрали в нескольких районах города. И пожарники старались изо всех сил спасти эти подземные коммуникации от морозов и бомбежек. Это не всегда удавалось, и бывало, что пожарная команда приезжала, а воды не было. Все сгорало на их глазах.

Мама моя была очень брезгливой, и поначалу, когда были в силах, мы ходили на Неву к Летнему саду и там брали воду. На саночках или не на саночках, если не было снега. Не близко. А когда силы уменьшились, стали ходить к проруби на Фонтанке. Но Фонтанка была коллектором сточных вод. То есть, все нечистоты спускались в Фонтанку. Когда уже не было возможности никуда далеко ходить, и выпуск нечистот был прекращен, поскольку водопровода не было, стали брать воду из Фонтанки, где потом сделали, как сейчас говорят, «памятную прорубь». Она была напротив Итальянской улицы, тогда улицы Ракова. Представляешь себе? Там есть спуск. Это была поддерживаемая прямоугольная прорубь. И на Невском была канава, где текла постоянно какая-то вода.

Вода была на вес золота: её тяжело было таскать и поднимать на этажи. У нас, сама видишь, третий этаж, самый верхний. Люди, когда берегли воду, они практически не мылись. И лица были не то, чтобы грязные или в пятнах, но они были серого цвета. Это я очень хорошо запомнил. Это был и голод, и холод, и, кроме того, это была грязь. Мыться-то негде, воду вскипятить в таком количестве... На производствах Ленинграда начали массово выпускать так называемые «буржуйки», печки-бочки на ножках. Труба выводилась или в окно, или в дымоход. Наша буржуйка была выменяна на теплые пальто. Мы грели на ней воду, чтобы пить горячее, и разводили все, что возможно из съестного. Хотя мы не мылись, но зубы чистили, это я очень хорошо помню. Тем же самым порошком, которым натирали когда-то парусиновые туфли. В такой бумажной коробочке. Этот порошок был многоцелевой: им чистили серебро, туфли и зубы.

Канализация вышла из строя практически сразу. Пока были силы, мама выносила ведро на улицу. Но потом силы кончились, и мы просто все выливали на лестницу. Уже было холодно, все застывало на ступенях. В квартире от этого стоял сильный запах. Весной сорок второго года был объявлен обязательный воскресник, и мы с мамой, уже очень слабые, убирали лестницу. Все, что накопилось за зиму.

А по городу ездили трехтонки-газогенераторы. Этого ты в жизни никогда не видела и не увидишь. Машина, трехтонная, у нее за кабиной стояли две цилиндрические башни. В одной башне были насыпаны, как правило, остатки от деревянных катушек текстильной фабрики, а во второй – была устроена печка, которая топилась вот этими самыми катушками. Эта печка вырабатывала СО – горючий газ, а СО, как известно, мог использоваться как топливо для двигателя. И двигатели были переделаны с бензинового на СО. Топлю и еду.

Мы с мамой занимались преступным промыслом. Дело в том, что по городу ходили паровозы-кукушки. Колея этих кукушек соответствовала трамвайной колее. И я, как сейчас помню, по Владимирскому проспекту мимо Владимирской церкви шла «кукушка» и тянула какую-то платформу с рельсами. Это поразило, конечно, мое воображение. Она питалась углем и дровами.

Мы ходили с мамой на Московский вокзал и собирали маленькие кусочки угля, потому что их можно было загрузить в буржуйку и, соответственно, топить целый день. За это могли расстрелять, потому что уголь был стратегическим сырьем. Мама была смелая. Она брала с собой дамскую сумочку и наполняла её кусочками угля. Мы шли домой. Этой сумочки угля хватало на одну протопку. Сумочка до сих пор хранится у меня.

Таких людей было достаточно много, которые искали хоть какой-нибудь источник будущего тепла. Каждый раз, когда где-то раздалбливали дом, летели доски от стропил, сразу появлялось много-много народу, люди тащили себе эти деревянныешки. Все тащили, кто что мог. Но ни у кого не хватало сил пилить.

В буржуйке сгорели и мои серсо – деревянные кольца, которые я гонял по дорожкам Летнего сада. Сгорела мебель красного дерева и библиотека моего отца и деда. Мама жгла книги. Это была борьба за жизнь. Стало особенно холодно, когда в соседней комнате выбило окна – во двор и на Фонтанку. Одно окно закрыли пружинным матрасом, а второе тоже заткнули чем-то. Квартиру надо было отапливать. Коллекция Брокгауза и Эфрона, более восьмидесяти томов, ушла в огонь. Из всей библиотеки остались единицы, среди них – юбилейное издание Пушкина, у мамы не поднялась на него рука.

В конце сорок первого года к нам пришёл представитель военной комендатуры и сказал, что поскольку угол обстрела с нашего балкона очень большой, видна вся перспектива Фонтанки от Аничьего моста до гостиницы «Советская», то, мол, вы переезжайте в одну комнату, а угловая комната с балкончиком – мы на нее поставим пулемет. Это было, так называемое, временное уплотнение. Привезли пулемет. Ты никогда в жизни не видела такого пулемета! Четыре ствола, такие кольцевые прицелы, лента. И четыре девушки. Мне сейчас трудно сказать, какие это были девушки, мне казались они, конечно, взрослыми тетями. Они стреляли из этого пулемета по самолетам, а нас с мамой теперь всегда удаляли в бомбоубежище.

И вот, на нашем балконе стоял пулемет, а в соседней комнате жили четыре веселые девушки. Они мне иногда приносили сахарок. Я очень любил сахар, а они любили мальчика Андрюшу. Поэтому приносили мне и сахарок, и иногда какие-то остатки. Мне было приятно. Поскольку они кормились хорошо, против физиологии не попрешь, к ним начали приходиться молодые ребята, которые тоже служили в Ленинграде. Но, пардон, комната-то была одна! На улице холодно, на лестнице холодно и к тому же грязно.

Поэтому трое девушек уходило, а одна со своим молодым человеком оставалась. К каждой девушке приходил свой молодой человек. Мама, конечно, негодовала! Я уже потом понял, почему они оставались в комнате, почему негодовала мама. А в то время мне было абсолютно все равно.

Встают передо мной другие образы, очень любопытные. Новый год сорок второго года. Самая тяжелая зима. Полное затемнение на улицах, никаких фонарей. Ходит бригада по улицам, которая проверяет, как сделано затемнение. Ходили дворник и две-три девушки НПВО. Одна из тех девушек до сих пор живет в нашем доме. Ты её увидишь. Это уже старуха глубокая, одинокая, еле-еле ходит, но каждый раз я с ней здороваюсь. Она иногда узнает меня, иногда не узнает, по-разному бывает.

Телефоны в городе были отключены, но был ряд телефонов, которые работали, так называемая, спецсвязь – тот самый коммутатор с барышнями. Телефоны были на две кнопки: А и Б. Нажимаешь, кнопочку А, и говоришь А19186. Это телефон моих родителей, я его помню до сих пор. Спецсвязь работала у ответственных работников, за которыми приходила служебная машина в первое время, а потом машины перестали ходить и за ними, возить на работу – не было бензина. Бензин стал стратегически важным сырьем, и был ограничен в пользовании. Никаких личных служебных машин не было, хотя отцу полагалась «Эмка», и до войны он ездил с водителем, все – это дело кончилось. Поэтому отец жил на работе, чтобы экономить силы, а нас навещал раз в две-три недели. И вот, представь себе, отец со своим товарищем ночью, используя ночной пропуск, а было военное положение – ты не имел права выйти на улицу без ночного пропуска, потому что ходили по ночному городу патрули, которые отлавливали диверсантов. Диверсанты в городе были в достаточно большом количестве. Они не занимались подкладкой бомб или поджогами, они ходили с ракетницами и давали соответствующие сигналы немецким самолетам для бомбежек. Причины такого поведения были разные – у одних это была корысть, у других – обида на советскую власть, у третьих – идеология.

И вот, появился отец в сопровождении своего заместителя, и принесли они «ворошиловскую водку». Ты, конечно, не знаешь, что такое «ворошиловская водка»? Это «ворованное шило», «шило» – это спирт. Они принесли маленькую этой водки. У мамы была какая-то крупа, какие-то заплесневелые кусочки хлеба, еще что-то, короче говоря, был сделан ужин! И вот, эта маленькая спирта была поставлена на стол, были зажжены свечи, потому что электричество отключалось все время. Были случаи, когда давали электрический свет, но в основном нет. А патрули ходили по улице со свистком – не дай бог у кого-нибудь штора не закрыта (а штора была сделана из фотобумаги, то есть черная фотобумага в здоровых рулонах закручивалась днем, а к ночи опускалась, чтобы не было видно света). Они налили по рюмочке, налили водички, разбавили этот спирт и пошли на кухню. Я налил этого спирта в рюмочку и глотнул залпом. Ты не поверишь, но, наверное, до второго курса института, когда я видел, что пьют люди вино, водку, мне становилось плохо... Меня откачивали от этого спирта. Это было что-то ужасное. Меня выворачивало наизнанку, я обжег себе гортань, все!

Есть масса мелочей, которые я почему-то помню. В частности, полное затемнение, о котором я уже говорил, распространялось и на машины, в основном, грузовые и автомобили командования. Они ездили ночью без фар. Это было потрясающе: на фары были надеты козырьки, а вместо прозрачных стекол были вставлены фиолетовые. Почему? Потому что издали эти фиолетовые стекла были не так заметны. Исключение составляли машины, которые ходили через Ладогу. Я видел их однажды, когда мы с мамой ходили как голодные волки, собирая щепки и обрезки досок.

Самое интересное другое, что в магазинах города продавались, и я жалею, что утратил, маленькие значки с добавлением фосфора, светящиеся. Сделано это было для того, чтобы люди не натыкались друг на друга. Освещения не было. Такой значок, конечно не светил ярко. Кроме того, выпускались нашей промышленностью зеленые фонарики. В основном, они шли для армии, но и гражданские их активно использовали. Там было две батарейки, и светили они на метр или два.

Самыми оживлёнными местами в городе были барахолки. То есть, имея деньги, драгоценности или какие-нибудь сколь-нибудь ценные вещи, можно было купить себе все. И я очень хорошо помню мать, она была в общем-то обеспечена отцом перед войной очень здорово, конечно: отец в тридцать пятом году последний раз вернулся из заграничной командировки. Он с середины двадцатых годов все время бывал в Германии, Англии, Америке, Франции. Владея тремя языками, он мог принести пользу Отечеству на основе создания базы наших электроизмерительных приборов, которые до сих пор еще встречаются и сделаны очень хорошо по западным образцам.

По тем временам, когда здесь только что кончился НЭП и все пропало, все было - и вдруг все кончилось, отец привозил очень хорошие вещи. В блокаду мать ходила и меняла эти вещи на барахолку. Я как сейчас помню, отец привез из Америки кожаную куртку, типа «москвички» - красная, на молнии из свиной кожи. И я по наивности своей говорил, вот мам, я вырасту, и вы мне подарите эту куртку. Конечно, куртка бы не дожила, даже если бы осталась у нас.

Барахолки были при рынках. Милиция не могла с ними справиться. Кузнечный рынок – самый близкий к нашему дому, там красную куртку обменяли на буханку хлеба. Это был очень хороший обмен! Буханки хватило на три дня.

Кроме того, мама пыталась продавать свои панбархатные платья, панбархатные пелеринки, которые отец привез ей из Франции, но эти наряды никому не были интересны. Ты знаешь, у меня великолепная память. Пока еще! Я очень хорошо помню ряд вещей, например, великолепные туфли из Парижа, обменянные на что-то съестное; от них я недавно нашел коробку, разбирая антресоль. Почему-то осталась, представляешь себе?

По рынкам ходили цыганки, которые продавали петушков на палочке. Для придания им блеска и лоска цыганки периодически их облизывали. Сколько я ни просил, мне никогда не покупали такого петушка.

Все эти барахолки были насыщены инвалидами. Люди выходили из больниц. У кого были обезображены руки, у кого – ноги, лица. Специализировались инвалиды на торговле папиросами. Откуда шли эти папиросы? Военным выдавали не только махорку, но и папиросы, инвалиды же перепродавали эти папиросы гражданским, причем поштучно.

Жители выносили из домов все, поэтому на барахолке можно было купить и ковры, и самовары, и серебряную посуду, и драгоценности из-под полы. Мама избавилась от всех своих украшений.

Расслоения населения по уровню жизни заметно не было, хотя оно, конечно, было. Потому что были люди в достаточной степени обеспеченные. И были те, кто умирал от голода, не имея возможности обменять хоть что-нибудь на хлеб.

Кроме того, были опечатанные квартиры, из которых хозяева уехали в эвакуацию. Эти квартиры вскрывались, и выгребалось из них все самое ценное. Такое воровство было в какой-то степени узаконено ЖАКТаами, потому что начальник ЖАКТа был царь и бог. У нас управдомом был некий Баранов, он вёл учет, кто у него живой, кто уехал. В подчинении Баранова было три дома. Я очень хорошо его помню. Это был человек, на которого все молились. Потому что он мог пустить кого-то из разбомбленной квартиры в

целую, пустовавшую за денежки. И такие вещи были: аналогичный случай был у референта отца, была такая Мария Николаевна Молчанова. Очень милая дама. У нее квартира находилась на площади Островского в углу. Туда въехал военный прокурор какого-то района. Отец ходил выяснять, как получилось, что прокурора пустили в эту квартиру. Многие же не жили дома, а ночевали прямо на военном производстве, чтобы не тратить силы на дорогу.

Что ещё тебе рассказать...

Немцы, конечно, сволочи были первостепенные: в первую очередь они пытались уничтожить питерские госпитали. Возможно потому, что это были потенциальные солдаты, которые могли вернуться на фронт, могли стрелять, могли убивать. Но по всем гражданским соображениям, соображениям гуманности нельзя было бомбить госпитали. А мы с мамой очень много ходили, и поэтому много видели. Она говорила, что если сидеть дома, то не будет энергии. А энергия должна выходить и должна прибавляться. Она вообще была довольно энергичной женщиной.

И что ты думаешь, удар, который нанесли немцы, был удар по госпиталю на Суворовском проспекте. Дело в том, что в конце Суворовского проспекта, почти у Смольного до сих пор находятся корпуса военного госпиталя. А напротив, там, где сейчас Арбитражный суд, угол Кавалергардской улицы и Суворовского проспекта, там был военный госпиталь. Здание построили перед войной на уровне ультра си. Вместо лестниц там были только лифты. Немцы попали в него зажигательной бомбой и фугасной бомбой. Это здание горело так, хотя оно облицовано камнем, что камень горел. Люди, которые были на этажах, раненые, обездвиженные в основном, сгорали заживо, поскольку лифты были раздолбаны. Кусок облицовочного камня у меня где-то хранится – он оплыл гроздьями винограда. Можешь себе представить, какой жар был? Там погибло очень много народу. Обгорелое здание стояло до пятидесятых годов, и его не трогали.

Точно также немцы пытались уничтожить еще один госпиталь, это госпиталь на Фонтанке, недалеко от меня, теперь это здание студенческой Публичной библиотеки. Так называемый Екатерининский институт. Там располагался очень большой госпиталь, все этажи были заняты ранеными. Но немцы так и не попали в него. Их самолеты, которым было вменено в обязанность во что бы то ни стало раздолбать этот госпиталь, сбрасывали бомбы. Первая бомба попала рядом с Екатерининским институтом, на углу Невского и Фонтанки. Потом его фасад фанерный был разрисован. Второе здание – Фонтанка пятьдесят. Как летел самолет, он кидал подряд эти бомбы. И третья бомба упала буквально впритирку к Чернышеву мосту, с башнями, таким образом, что при взрыве мост устоял. Представляешь, как строили? У моста были только снесены перила на той стороне, что ближе к типографии. Если сейчас встать на мост и посмотреть на воду, когда нет льда и вода чистая, то видно, как крутит омуты. Там, вероятно, скалистый грунт был, и бомба выдрала кусок грунта, в этом месте образовался омут. Это, пожалуй, единственный омут на Фонтанке, который можно увидеть при всей скорости течения воды.

Постепенно город стал приобретать совершенно жуткий вид. Почему? Во-первых, все стекла, все окна были оклеены газетами. Это вот такие полоски были нарезаны, и они крест-накрест клеились на окна, чтобы при вибрации стекла не разбились. В какой-то степени это помогало. Во-вторых, все золотые купола и шпили были укутаны брезентом или покрашены специальной бригадой альпинистов, чтобы не стать мишенями для авиаударов. В-третьих, в ту зиму навалило очень много снега. Никто снега не убирал. Единственное, ходили танки, и вот эта танковая дорожка оставалась, по ней кое-как пробирались газогенераторные машины. Я таких машин больше никогда не видел. Не знаю, сколько в ней сил было. Но она что-то возила. Самое ужасное впечатление было,

когда такая машина возила трупы. Знаешь, с некоторых пор я не боюсь мертвых людей. Это было настолько обыденно. Собирали трупы, которые падали на улицах. С этих трупов постоянно что-то сдирали, какую-то одежду, обувь. То есть это не были трупы, как показывают в хронике из концлагерей – горы голых трупов, нет. Шла бабушка в теплом платке – очень многие ходили в платках, и я ходил в платке, сзади платок завязывался; когда я приходил домой, хотя дома было достаточно холодно, я говорил: «Мама, развяжи меня», потому что сам развязаться я не мог, а был как матрешка. Бабушка умирала, платок с неё снимался незнакомыми людьми. Эти трупы, которые падали на улицах гроздьями, с них все ценное сдирали. Бросалось в глаза – отсутствие верхней одежды, пальто. В основном, все ходили в ватниках. И вся наша армия ходила в ватниках. Пальто носили бывшие интеллигенты, которые утеплялись, как могли.

Идет человек вдоль Фонтанки, держится за парапет, вдруг – раз и сел. И сидит. Посидел-посидел – и все, умер. И к этим сценам надо было привыкнуть. Умерших увозили на саночках. Взять машину где-нибудь и отвезти на кладбище было невозможно. В городе огромное количество людей не знают теперь, где похоронены их родственники. Было несколько сборных пунктов. Один из сборных пунктов трупов была Куйбышевская больница на Литейном, теперь Мариинская. Трупы брали за руки, за ноги, закидывали в кузов и кучами вывозили на кладбища: Богословское, Серафимовское, Охтинское, там вырывались рвы и в них закладывались мертвые тела. Пытались фиксировать, кто был захоронен, но чаще всего невозможно было установить – документы отсутствовали. Именно поэтому трудно сказать, сколько фактически людей погибло.

Крематорий был только один: в Московском парке Победы – бывший кирпичный завод. Там до сих пор сохранили тележку, на которую загружали трупы для отправки в печь. Их сжигали таким образом, что даже не знали, кого сжигают. Никакой статистики как таковой не было. Заполняли трупам тележку для обжига кирпича и отправляли в печь. Пепел ссыпали на дно пруда, расположенного рядом. И на этом дне находится колоссальное количество человеческого пепла.

Мама совершенно не разбиралась в технике, абсолютно. На всех крышах домов были сборные отряды, так называемые звенья, которые боролись с зажигательными бомбами. Зажигательная бомба – небольшого размера, выполнена из магниевого сплава, не взрывалась, а разбрасывая искры, пробивая крышу собственным весом, могла начать пожар на чердаке. Все зажигательные бомбы не имели взрывчатки. Фугасные бомбы – да. Они давали колоссальное количество осколков, имели взрывную волну. А зажигательные бомбы вызывали мощный пожар, и большинство пожаров начиналось сверху. Поэтому на чердаке стояли либо чаны с водой, но вода замерзала, либо с песком. Были даже нашей промышленностью выпущены клещи с длинными ручками: надо было схватить эту бомбу горящую и бросить в песок. Либо сделать другую вещь – просто через слуховое окно сбросить вниз, на землю. Во время бомбежки и налетов никаких прохожих внизу не было, естественно. У меня была припрятана вот такая зажигательная бомба. Кто-то ее потушил и выбросил, я ее нашел и припрятал. Мама, когда обнаружила эту бомбу, в ужасе выкинула ее. Я так горевал! Это была совершенно потрясающая реликвия. Я, любитель таких вещиц, очень расстраивался. Например, я никак не мог понять, откуда во время объявления тревог раздавался звук сирены. Кроме того, что по радио объявляли воздушную тревогу, откуда-то еще раздавался звук сирены. Дело в том, что город бомбили не весь сразу, а по районам: Кировский, Московский, Калининский, потому что огромного количества самолетов и у немцев не было. Когда я поднялся как-то на чердак школы во время уборки, мы наткнулись с пацанами на сирену. Это та сирена, которая завывала. Она была окрашена в зеленый цвет, на четырех ногах, у нее была ручка, как у мясорубки, и,

соответственно, она выла, когда крутили ручку. Мы попробовали «повыть». Нас оттуда сразу выгнали, а сирена осталась. Я очень хотел ее приобрести, увезти на дачу, но этого не случилось. Сирена, к сожалению, погибла. Была сдана в металлолом.

Меня даже выпускали во двор, но с условием, что по сигналу воздушной тревоги я должен был вернуться к маме, чтобы вместе идти в бомбоубежище. Во дворе были и другие дети, человек пять-шесть. На нашей лестнице жила девочка Жанна. Она выжила, но ты ее уже не встретишь – Жанна не так давно переехала в дом инвалидов.

Во дворе мы играли в казаки-разбойники. Штандер: мяч подбрасывают высоко, а пока он летит, и пока ты его ловишь, все разбегаются. Игра в двенадцать палочек. Не знаешь? Эх! Представь себе, что у тебя доска, она лежит на чём-то наклонно. На одну сторону складывают двенадцать палочек. Эники-беники-сикали-сай, эники-беники-ба. На золотом крыльце сидели, знаешь? Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Тоже знаешь? Выбирают по считалке одного водящего, он выходит. Кто-то берёт и ударяет ногой сильно по свободному концу доски, и все эти палочки взлетают вверх. Водящий их должен собрать, положить снова на место, а за это время все разбегаются и прячутся. Он начинает их искать. Если кого замечает, бежит к этой штуке, бьёт по доске и кричит имя того, кого он увидел, и тот становится водящим. И так по кругу. Очень здорово! Но бывает и другое, что водящий убегает, а кто-нибудь другой, кого он не видит, выбегает из укрытия и снова ударяет по доске. Тогда водящий снова должен собрать все палочки.

Самое печальное случилось однажды, после чего меня перестали выпускать даже во двор.

В городе было жуткое количество крыс. В доме – нет, но они бегали по улице, особенно в тёплое время года. Они питались трупами. Кроме того, в городе были и люди-крысы, которые смотрели: ага, вот упала совсем молодая женщина (хотя было достаточно трудно определить молодая она или нет, потому что лица были до невозможности состарены). И если падал ребёнок, у него тоже пытались вырезать мягкие части и варить их.

У нас, как во всяком старинном доме, была швейцарская, где когда-то жил швейцар, который открывал и закрывал двери. Это была маленькая комнатка, три на три метра максимум. Так вот, в швейцарской поселилась тетка. Мы знали ее, здоровались. Эта тетка, как ни странно, постоянно была пьяная, представь себе. От нее всегда пахло. И однажды она ужасно напилась, а на лестнице пахло мясом жареным. И когда к ней ворвались в комнату, она валялась пьяная совершенно, а на столе лежали руки и ноги маленьких детей, которых она воровала. Она через мясорубку пропускала мясо и торговала на Кузнечном рынке котлетами. Варила студень и с этим студнем ходила и продавала его. Никому в голову не могло прийти, что это студень из человеческого тела, из детских человеческих тел. На вырученное покупала спирт, напивалась и нажиралась останками. Ее расстреляли. После этого мама перестала меня выпускать во двор.

Дети пропадали, конечно. Искать их милиция была не в силах совершенно. Сложно сказать, насколько это было распространено, ведь всё, что делалось в городе из таких вещей, обороны, социального отношения к людям, это всё было в значительной степени засекречено. Вплоть до того, что в 1951 году по постановлению ЦК партии было приказано уничтожить все списки блокадников. И списки были уничтожены. И когда, в более позднее время, появилась мысль о том, чтобы учесть блокадников и в какой-то степени их отметить, дав им хоть какие-то привилегии, этих списков уже не было. Отсюда и спекуляции своим якобы блокадным прошлым. Примазавшихся достаточно много. Люди, которые никогда в блокаде не были, вдруг становились блокадниками. Мне удалось доказать, что я был в Ленинграде в первую зиму блокады только по случайно уцелевшей

записи в ЖАКТе, что моя мама была эвакуирована с сыном тогда-то. Эта ничего не значащая запись была единственным сохранившимся свидетельством.

Немцы продолжали наступление. Маленькой горсточке людей, которая защищалась, им можно только ставить памятники – тем, кто отстояли город. Потому что этот город Гитлер приказал уничтожить вообще: под Ленинград были переброшены гигантские mortiry, забрасывающие осаждённых снарядами.

Но несмотря на постоянные обстрелы, самое тяжелое был всё-таки голод. Конечно, бомбы наносили колоссальный урон, потому что, если в дом попадала бомба – люди погибали или оставались без крова, но голод – это было что-то ужасное.

Ожидали, что если немцы войдут в город, главное направление пройдет по Фонтанке. В связи с этим, все дома, которые были окнами направлены на гостиницу Советская, подвалы этих домов были превращены в укрепления. На Фонтанке практически все дома имеют большие подвалы. Одно из таких помещений находилось на площади Ломоносова, это тот дом, где была булочная, где отрезались лепесточки хлеба, в нем были гигантские подвалы. И уже после войны мы с пацанами лазали туда и смотрели, что там было сделано. Помещения эти были укреплены и прорезанные бойницы амбразур были направлены в сторону возможного приближения врага.

Чернышев и Аничков мосты также были заминированы. Это мог быть второй Сталинград. Но у Ленинграда сложилась другая история. Не менее страшная.

Несмотря на то, что немцы строжайшим образом блокировали подходы к городу, представь себе, псковские и вологодские крестьяне организовали громадный караван на подводах, проехали через непроходимые леса и привезли в Питер гуманитарную помощь, крупы, муку. Можешь представить, какие бреши были? То есть, формально это было замкнутое кольцо, но на самом деле была возможность пройти, зная дороги через лес и болота. Только знали их очень и очень немногие, кроме того, выбираться из города пешком уже не было сил.

Город жил в ожидании. Население, конечно, не знало, что Гитлер дал команду на полное уничтожение людей и города. Периодически немцы сбрасывали листовки на город, но за эти листовки сурово карали. Я был вездесущим товарищем и пару листовок припрятал. Когда родители нашли у меня эти листовки, они тут же их уничтожили.

Листовки были на цветной бумаге на русском языке. Часть листовок являлась пропусками. То есть, с этой листовкой можно было, как-то минуя линию фронта, перейдя и предьявив, получить некие блага от немецкого командования. «Покиньте город. Наша нация обеспечит вам безопасность». Это был обман, конечно. Даже если и были такие люди, кто велся на эту пропаганду, их было очень немного.

А весной сорок второго года, как только сошел снег, девушки, в основном, девушки, убирали лёд, снег, оттаявшие нечистоты. Когда снег был убран и появились прогалины, возникло сразу желание посадить огороды. В Летний сад не пускали, а вот откосы Зимней канавки использовались для этих целей – у нас там был огород с мамой. Мама руководствовалась тем, что хорошо было бы посадить капусту. Даже если она не завьётся в вилки, то вот из этих листьев, так называемой хряпы, можно варить супы. Посажено было сто семечек. Они взошли. Семена выдавались по ЖАКТам. Это не был самозахват: маленький участок земли можно было получить официально для возделывания. Участок нам выделили, и мы посадили капусту на крошечном расстоянии друг от друга, чтобы получить как можно больше зелени. И что ты думаешь? В один прекрасный момент, когда капуста эта уже взошла, мы пришли – ни одного кустика не было. Их все украли. Просто кто-то пришел и повыдергал. А уже было по два листика. Я чувствовал себя таким счастливым, когда появились эти листики. Я еще не знал, как это будет есть.

Конечно, отец очень настаивал на том, чтобы мы уехали из города. Дело в том, что такая возможность периодически появлялась. Но мать говорила, куда я поеду? Вот пока отец здесь, я никуда не поеду. Отец не мог уехать, он работал: «Всё для фронта, всё для Победы!» И мама тянула с этим решением. Она разделяла точку зрения многих людей о том, что война кончится в течение года. Это железно было в сознании, что война кончится через год. Но прошёл сорок первый год, прошла зима сорок второго – очень тяжёлая, злая, морозная, голодная. Половина нашего дома умерла. Дом небольшой – все соседи знали друг друга. Мало, кто остался в живых.

Когда мама поняла, что следующая зима неизбежна, и что ей вторую зиму не пережить со мной – библиотека сгорела, продавать на барахолке скоро будет нечего, она решила на эвакуацию. Отец однажды пришёл, и она ему сказала, что хочет уехать. К этому времени прислали похоронку о гибели брата с запозданием в полгода.

Согласно последнему приказу ленинградского обкома партии, третья волна эвакуации (а их было три волны) предусматривала безоговорочный вывоз всех женщин с детьми по Ладожскому озеру. Организовано это было так: по городу ходили сандружинницы, они выясняли, есть ли кто живой в квартирах. Если в квартире все умерли, они выносили трупы, вызывали специальные машины, на которых мёртвых вывозили. Трупы нельзя было оставлять в комнатах, потому что зимой это было не так страшно, а весной могла начаться эпидемия. Поэтому они старались быстрее проверять, кто остался в доме, кто жив, а кто нет. Людей, которых уже не спасти, было видно по заострившемуся носу, целому ряду параметров. Он еще жив, но слишком поздно, пришёл конец. Дистрофиков пытались подкормить: супом, картофельными очистками с больничных кухонь для того, чтобы хоть чем-то заполнить голодные желудки.

Девушки составляли списки людей, которых еще можно было вывезти в эвакуацию. Они пришли и к нам, записали нас с мамой. Мы стали собираться в дорогу.

Мама моя была человеком исключительно непрактичным. Я отдал дань этой непрактичности через много-много лет. Она, например, упаковала в чемодан японский халат, расшитый золотыми драконами на спине, взяла все свои непроданные панбархатные платья, кроме того, мама сложила с собой оставшееся столовое серебро и хрустальную вазу.

Из игрушек у меня был паровоз, его мы, конечно, не взяли с собой, а вот мягкие игрушки взяли, хотя никому они там не были нужны, я уже в них не играл. Это была собака, если поворачивать ей хвост, она крутила головой. И большой плюшевый мишка.

И вот, в летний день сорок второго года мы потихонечку собрались идти к барже на Неве, она стояла возле Летнего сада. У нас было четыре простых чемоданчика. Я помню потому, что мама несла их по очереди: ставила, возвращалась за оставленными перебежками. А потом оказалось, что посадки там не будет, возможно из-за того, что на Неве недалеко стоял крейсер и вел обстрел, и баржа с людьми могла помешать. Посадку решили перенести ближе к Ладоге. Туда нас должны были доставить на полуторках-труповозках.

Таких неудачников, как мы с мамой, у баржи было много. Нас повезли к дому обратно, мы поднялись в квартиру и стали ждать, когда придет нарочный от девушек и сообщит день отъезда.

Ждали мы неделю. Отъезд несколько раз отменялся, переносился. Ладога простреливалась авиацией. Поэтому старались выбирать дни, когда на воду ложился туман.

В начале войны эвакуация шла по железной дороге, там чётко объявлялось, когда к какому вагону подходить, время отправления поезда. Но часть этих вагонов с людьми и

детьми, а впоследствии и сама железная дорога, были разбомблены. Летом сорок второго года, оставшись без листков капусты и библиотеки, мы сидели на чемоданах и ждали, когда сможем уехать.

Неделю спустя, в совершенно туманный день машина вывезла нас и людей из соседних домов.

Отец не провожал – не мог уйти с работы, но знал, что мы вот-вот эвакуируемся, и дал нам сопроводительное письмо в Свердловск, куда мы должны были добраться. Провожала нас только тётя Нюра, наша добрая знакомая, швея. Она отказалась уехать, потому что работала: шила рукавицы и ватники и имела рабочую карточку. Во вторую блокадную зиму она похоронит единственного сына Вовочку, он был старше меня года на четыре. Он умрёт от голода. А мужа её, поляка, арестуют и расстреляют. Тётя Нюра была тихвинская, умерла она уже после войны.

Нас привезли к гигантской барже, людей было очень много. В основном, дети и женщины, старики. Многие дети были без семей, их передавали. Всех засунули внутрь, на палубу выходить было нельзя, двери задраены снаружи. Окон не было, только тусклая лампочка. И мы поплыли в тумане. Трещал буксирчик маленький, который тащил на верёвке эту здоровую баржу. Плыли мы с раннего утра до середины дня. Нас высадили в эвакупункте возле Осиновца, где давались направления. Всех гнали, естественно, вглубь страны. Никто здесь, рядом с фронтом, не оставался. На берегу стояло несколько полевых кухонь, в которых была каша, как сейчас помню, перловка. Естественно, на воде.

У нас с собой было несколько банок тушёнки. Всё дело в том, что в сорок втором году американцы начали осуществлять поставки по ленд-лизу. Я эту тушёнку до сих пор иногда вижу во сне. Она была нескольких типов. Во-первых, вот такие здоровые банки. Потом была полулитровая баночка маленькая, она уже снабжалась ключиком. Этот ключик вдевался в такой язычок и, соответственно, крышечка снималась, а под этой крышечкой был слой желе, совершенно прозрачного, никакого жира, ниже – вкуснейшее мясо. Это была колоссальная подмога для армии, конечно. То, что сделали американцы, то, что они даже поставляли самолёты «Кобра» – это всё очень здорово. Но даже если бы они поставляли только продовольствие, это уже колоссальный был бы вклад, что они и сделали в своё время.

Кроме круглых банок были банки прямоугольного сечения тоже с ключиком. Там уже была не тушёнка, а колбаса. Вся эта банка была заполнена колбасой. То есть можно было, постучав по ней, ножом отрезать вдоль, это был бы вот такой кусок колбасы. Ещё американцы поставляли потрясающий шоколад. Плитки этого шоколада, ты знаешь, я нашёл дома года три назад, когда переделывал кухню, уже после войны они затерялись среди утвари. Это были тяжёлые здоровые плитки горького шоколада, не сладкого. Причём, что интересно, предназначен он был, как я узнал потом, совсем не для того, как мы его ели: мама разбивала плитку и давала мне по маленькому кусочку – нет, оказалось совсем другое: это был даже не шоколад, это было такое какао, которое натиралось на тёрке, заваривалось на плите, допустим, в джезве, это был горячий шоколад! Конечно, никто его в горячем виде в то время не потреблял, естественно.

Вообще американцы очень много интересных вещей делали. Они поставляли из крафтовой бумаги пакеты. Этот большой пакет был наглухо запаян, и внутри него был очень хитрый порошок бурого цвета. Если туда, там была приёмная пипочка, капнуть водой, весь этот мешок нагревался. И применялся он для наших солдат, которые закладывали его под ватники в разные части тела, и он грел порядка четырёх-пяти часов. Мы с пацанами играли в использованные мешки. Отрывали конец и бросали –

порошкообразное наполнение разлеталось по двору, бросали друг в друга, потому что играли в войну, и армия на армию нападала.

Тушёнку получал отец, он дал нам с собой несколько баночек. Её привозили в основном в Ленинград самолётами, потому что не доверяли грузовикам, несмотря на то, что она была упакована в ящики. Воровство, конечно, было. Воровали, воровали ...

Эвакопункт – это поезда, машины, которыми вывозились люди. Я был к тому моменту ужасно измотан. Нас посадили в грузовик, везли куда-то дальше. Пересадили там в товарные вагоны, теплушки, где стояла внутри вагона маленькая буржуйка, и выдвигаемая дверь закрылась за нами. Люди были обмотаны чем попало, спали, не раздеваясь, и топили эту буржуйку чем только возможно. Были сколочены нары. Этот долгий-долгий путь занял двадцать дней. Дело всё в том, что навстречу с Урала шли эшелоны с вооружением, с танками, самолётами. Американцы через Аляску перегоняли и английские, и свои самолёты. Эти самолёты садились на дальних аэродромах, частично разбирались, складывались крылья, грузились на платформы, и эти платформы бесконечные шли в сторону фронта. Кроме того, это были орудия. Никакой тары, никакой упаковки не было. Всё стояло в открытую на платформах. И вокруг – солдатики с ружьями.

По дороге нас кормили один или два раза. Давали хлеб и воду. Остальным люди в вагоне в общем-то делились. Вслед этим поездам не так яростно, как в начале войны, немцы бомбили. Я помню наш состав бомбили один раз. Была дана команда. Паровоз включал свой свисток, давал сигнал воздушной тревоги. Все выскакивали из вагонов, бросались в сторону от поезда в лес. Как мы вели себя тогда с мамой, я не помню. Я не помню очень многих вещей, которые не произвели на меня впечатления тогда. Например, сейчас, если бы прозвучал сигнал воздушной тревоги, и налетел немецкий самолёт, я бы это запомнил, но тогда это было такое удовольствие – боже мой! Самолёт прилетел бомбить! Это страшно интересно! Причём он даже не бомбил, он стрелял из пулемёта.

Приехали мы в Свердловск. Отец давал телеграмму туда в Уральский политехнический институт. Тогда он назывался УИИ – Уральский индустриальный институт. Это был институт, выстроенный ещё в 30-е годы, впоследствии он прославился тем, что его заканчивал Ельцин. Этот институт отделялся от города гигантским полем, на котором выращивали капусту, морковь, картошку местные жители. А этот УИИ был окружён целым рядом заводов, которые выпускали бомбы небольшого размера. Там, конечно, вся промышленность работала на войну. Станки были смонтированы прямо под открытым небом, и эти станки крутили корпуса снарядов. Уже потом над ними строили стены, перекрытия. Когда шёл дождь, станки закрывались брезентом. Работали в основном женщины: инженерами, технологами, контрольными мастерами.

Грузовиков были единицы. Лошади на розвальнях возили эти снаряды на сборные пункты, где снаряды дооснащались. Это все были эвакуированные заводы. Они создавали маленькие поселения, которые работали на войну.

Отец дал телеграмму в Свердловск с просьбой нас устроить, и нас поселили во ВТУЗ-городке. Это совершенно отдалённое от Свердловска поселение, недалеко от озера Шарташ, окружённое скалами.

Мама устроилась на работу – она пошла работать библиотекарем в этот самый УИИ: нужно было получить рабочую карточку. Нельзя было быть иждивенкой на расстоянии нескольких тысяч километров от отца, когда он не мог нам помочь. В театр её не взяли, поскольку в театре находилось такое количество артистов, которые бежали от немцев из совершенно разных мест – Белоруссии, Москвы, Питера, что штат был переполнен. Несмотря на то, что среди актёров были её знакомые, маме не удалось устроиться. В

Свердловске она очень редко ходила на спектакли, но меня с собой не брала, а укладывала спать, и при свете ночника я мечтал о будущей взрослой жизни.

Жили эвакуированные, или как называли нас местные, «выковыренные», в трёх пятиэтажных профессорских корпусах. В них были маленькие, в основном, отдельные квартиры.

Была масса раненых. Ведь чем ближе наши подходили к Берлину, тем ожесточеннее было сопротивление немцев. Это ожесточение сказывалось на том количестве убогих, безруких, безногих, которые возвращались на родину. Одним из тех, кто вернулся, стал наш новый сосед. Мы жили в двухкомнатной квартире, и поскольку мы обитали в одной комнате вдвоём, другая комната пустовала. Ректор обратился с просьбой к матери, не может ли она пустить туда полковника после ранения, танкиста. Это был очень приятный мужчина, очень приятный. Его зачислили в штат института на военную кафедру. И он поселился у нас.

В Свердловске тоже действовала карточная система, и мама покупала по карточкам продукты. Она приобретала иногда такую вещь, как суфле. Это было суфле из остатков снятого молока и для меня это было чрезвычайно вкусно. Кроме того, мама покупала то, что ты никогда не видела и не знаешь – это судки. Знаешь, что такое судки? От них ещё какие-то части остались на кухне. Это были алюминиевые кастрюльки, все они были одного диаметра, но разной высоты. Еду можно было отоварить на карточки в столовой. То есть, ты брала первое – заливалось в одну кастрюлю, потом второе – допустим, это было картофельное пюре, в котором делалось углубление и туда заливалась одна чайная ложечка растопленного маргарина, и пара котлет непонятного происхождения, но во всяком случае котлет. И вот эти две-три кастрюли одного диаметра, с боку у них были такие ручечки в виде скобочек, каждая кастрюля своей попкой закрывала предыдущую, только на верхнюю надевалась крышка. А дальше была вот такая вот конструкция в виде п-образной формы, выполненная из алюминиевой полосы и имеющая вот такие вот внутренние зацепки. Эта конструкция продевалась через все кастрюльки и за нижнюю она цеплялась. А наверху была ручка. И ты, таким образом отоварив всё в столовой, могла принести домой полный обед, который оставалось только разогреть на примусе или керосинке. В Ленинграде, думаю, они тоже были, поскольку завод «Красный Выборжец» делал эти судки.

Представляешь, мама приходила, когда уже было темно, рано же темнело, кормила меня. А весь день я занимался чем? Я читал! Она из библиотеки приносила книги, пользуясь своим служебным положением. Ты не представляешь себе, сколько я прочитал. Мне было восемь лет. Я читал всё подряд, например, Шадерло де Лакло, я ещё ни хрена не понимал, про что это написано. Только потом через многие годы я их смысл осознал и оценил совершенно по-другому. Были и детские книги: Валентин Катаев, Лев Кассиль. Они производили на меня колоссальное впечатление.

Наш сосед, полковник Шевченко, имел очень хороший паёк. Он не был демобилизованным, он был раненым. Командир, при погонах, всегда в форме; его работа в институте заведующим военной кафедры была продолжением службы. Он иногда приносил то, чего мы не могли себе позволить в отрыве от отца: и тушёнку, и шоколад, и всякие американские штучки. У него было какое-то внутреннее ранение. Однажды он мне подарил игрушечную лошадь. Он где-то на барахолке купил такую потрясающую лошадь, что я до сих пор жалею, что мы не взяли эту лошадь в Ленинград. Это была игрушка, обитая натуральной лошадиной кожей и шерстью с седлом и упряжью. На ней можно было сидеть, скакать в воображаемый бой и рубить врага направо и налево!

И вот, представь себе, однажды Шевченко получает письмо, в котором пишет кто-то из жителей Харькова, соседи по дому, о том, что погибли его жена и ребёнок. И в одно мгновение Шевченко пропал. Его не было один день, два дня, три дня. За ним пришли с работы. Комната заперта. Вскрыли комнату, и я вошёл первым. Он висел под потолком. Шевченко повесился. И тогда я понял, что есть какой-то предел человеческих возможностей, человеческой воли, человеческих сил. Полковнику Шевченко не было сорока.

Когда блокада была прорвана, за нами приехал отец. Он был очень истощён. В Свердловске отец устроился преподавать и работал до тех пор, пока, наконец, не получил документы, позволяющие нам втроём вернуться в город, в квартиру на Фонтанке. Сам он мог уехать в Ленинград в любой момент. Но нам с мамой без специального разрешения в город вернуться было нельзя. Получение документов было не только вопросом времени, но и вопросом твоей профессиональной необходимости для города. То есть, допустим, переизбыток актёров был не нужен, поэтому мать как актриса не могла бы вернуться, но как жена отца, иждивенка – да.

9 мая 1945 года мы были ещё в Свердловске, и по радио объявили, что сегодня кончилась война, что мы победили. Я помню грандиозный салют. Помню, как под расцветенным огнями небом незнакомые люди обнимались, смеялись и плакали одновременно. После салюта дома никаких застолий, никаких гостей – ничего этого не было. Мама с отцом сидели на кухне вдвоём.

И вот, летом сорок пятого года мы получили разрешение на въезд в Ленинград и отправились теперь уже в пульмановском мягком вагоне домой.

Мы вернулись в идеально чистый город. Никакой грязи, мусорных куч, которые остались в моей памяти – ничего этого не было, всё было убрано. И во всём городе – ни одного голубя. Все они были съедены. Кошек тоже не было. Я очень долго хранил газету «Ленинградская правда», в которой рассказывалось, как из Ярославля прислали вагон кошек. Все потомки полосатые – ярославского происхождения.

Ты знаешь, даже воробьев не было.

Нашу квартиру опечатали, никакого пулемёта, никаких девушек. Но не было и целого ряда вещей. Пару лет спустя отец увидел наш ковер в комиссионном магазине. Было написано заявление в милицию, были опрошены свидетели, и оказалось, что жена управдома сдала эту вещь в комиссионку. Ковер возвратили, дело замяли.

Кроме ковра из нашей квартиры вынесли еще очень много всего: небольшие статуэтки, мелочи и массу носильных вещей.

Шла активная демобилизация солдат, которые ехали с фронта, ехали из Берлина. И вот, мы как-то идём с мамой по Невскому проспекту, и мама говорит: «Смотри, видишь, женщину с офицером? Ты посмотри, на ней ведь не платье, на ней ночная рубашка». Для тебя это удивительно, конечно. А ты представляешь, что в Германии, откуда можно было что-то экспроприировать, очень красивые были ночные рубашки. С кружевами, длинные. И вот, идёт офицер в форме, а рядом с ним под ручку девушка, которой он из Германии привёз ночную рубашку. Потрясающе. Я это запомнил на всю оставшуюся жизнь. Если бы моя мама не обратила на это моё внимание, я, конечно, не заметил, потому что, честно скажу, не очень-то отличал в то время бальное платье от ночной рубашки. И, похоже, не я один. Тканей же не было. Был ситчик, из ситчика девушки себе шили что-то. Мальчики носили короткие штанишки, вплоть до пятого класса я ходил в коротких штанишках с двумя ляпочками, потом уже появились американские бриджи с напусками. Зимой под эти штанишки надевались рейтузы.

А осенью я отправился в первый класс. До сих пор мои одноклассники хихикают и вспоминают, каким я пришёл в школу. Во-первых, у меня были длинные волосы, во-вторых, я пришёл в школу с громадным чёрным бантом, в серой рубашке, коротких штанишках. И ты знаешь, я не встречал противодействия со стороны моих соучеников, которые носили длинные брючки. Все были такие разные и разновозрастные: кому-то было семь лет, кому-то десять, кому-то двенадцать. В классе – тридцать пацанов. Были мальчишки из детского дома, потерявшие родителей в войну. Они жили в помещении детского сада. Что меня поразило – они пришли в галошах на босу ногу. Потом их отправили куда-то в центральную Россию.

Когда я первый раз принёс в школу яблоко, ко мне подошёл мальчик, и сказал: «Дай кусить, что это у тебя?», я говорю: «Это у меня яблоко». Он откусил кусок и сказал: «Невкусно». Он в жизни не видел яблока. Понимаешь? Но зато в городе, это тоже запомнилось на всю оставшуюся жизнь, в магазинах, витринах Невского проспекта стояли банки с чёрной икрой и крабами. Этого добра было сколько угодно. То есть, после войны, Ленинград начали снабжать совершенно иначе, чем другие города. А всего в ста километрах от города люди продолжали недоедать и скверно питаться...

Отец умер через восемь лет после смерти Сталина. В столе отца я обнаружил тетрадь с поэмами, в которых он резко негативно отзывался о советской власти – слишком много крови было пролито, слишком высокую цену заплатил народ. Если бы эту тетрадь нашёл кто-то из посторонних, папу бы расстреляли. Вслух никогда ничего подобного не говорилось. Холодным молчанием родители встретили и известие о смерти вождя.

Мама прожила очень долгую жизнь. Больше замуж она не вышла, хотя её звали, конечно. Она старалась быть привлекательной до самых последних дней и долго не разрешала мне выкинуть манекен, по которому тётя Нюра шила ей когда-то наряды.

Имей в виду, на окно будут иногда прилетать птицы. Хлеб и мама, и я так и не научились выбрасывать, потому что помнили, как во время блокады собирали крошки от самого маленького ломтика. Я сушу все остатки и кормлю из окна птиц. Они вернулись, конечно. Как и мы.

В сорок девятом году музей блокады, созданный сразу после войны, был разгромлен и закрыт. Списки блокадников по непонятным причинам уничтожены. Совершенно сознательно стиралась память о страшной трагедии, которую пережил город. Политика, знаешь ли. Только воспоминания все равно живы. В сердцах таких стариков, как я. А теперь и ты будешь помнить. Спасибо тебе за это.

Вот ты говоришь, подпиши, мол, все эти бумаги, и тогда ты останешься со мной до моего последнего вдоха. А мне надо только одно: чтобы меня выслушали. Пусть не бескорыстно. Это уже не имеет никакого значения. Но как приятно, когда у окна, закутавшись в плед, сидит молодая и красивая женщина, как ты, и слушает меня, слушает...

Я подпишу, ты не волнуйся, только не исчезай. Знаешь, сколько у меня было всяких историй. Ты даже представить себе не можешь! Я буду твоей Шахерезадой. А когда мои рассказы закончатся, и я умру, как все мои умерли в этом доме, ты будешь смотреть на Фонтанку и вспоминать меня хотя бы изредка.

Я тебя не осуждаю, что ты! Я тебе не судья. Мы выживаем, каждый как умеет. Меня формировала жестокость моего времени, тебя – жестокость твоего. Только не уходи, не исчезай, как всё в моей жизни ушло и исчезло.

(Андрей подходит к окну.)

Уносит серая река,
Воспоминания и мысли,
Сомнения, печали, смыслы,
«Быть или...» дулом у виска.

Что вечно? Только след дождя,
Седой туман, да ветер рваный,
Закат безудержно румяный.
Как странно, что не вечен я...

А ведь опять бы смог шутить,
Любить – красиво, делать – дружно,
Я знаю, как... мне жить... мне нужно...
В ответ лишь шёпот волн: «Не быть...»

Андрей раскрывает окно, и тёплый майский ветер треплет седые волосы. Город живёт.